

# Дмитрий Иванов

## рассказы

### СОЛНЦЕ ТРОИЦЫ

Бабушки мои по отцу, как и вся их деревня Спасское, чтит Троицу. В конце шестидесятых в Спасском оставалась уже только баба Катя с мужем, дедом Мишей, но её переехавшие в город сёстры, баба Маша и баба Дора, другая родня, каждый год приезжали в гости. А с ними и я. И каждый год, когда солнце становилось высоким, а земля покрывалась травами и цветами, приходил этот день, вся деревня шла в лес. Садилась большими компаниями на опушке у подножия зелёных гор, расстилали на траве старенькие скатёрки, гуляли. И над заречным лугом, эхом отражаясь от гор, плыли песни людей и кукувание кукушки...

\* \* \*

Я, маленький, просыпаюсь утром у бабы Кати в Спасском. В избе уже никого, я вспоминаю, что сегодня Троица, мы идём в лес. Испугавшись, что меня забыли и ушли, впопыхах одеваюсь, выбегаю на улицу. На дворе яркий солнечный день, и первой в этом дне меня встречает песня. То пропадая, то снова возникая, она долетает непонятно откуда, словно сотворается из воздуха. Слышно, что поют далеко, большой компанией.

Во всём чувствуется праздник. На уже нагретой солнцем лавочке у забора стоит приготовленная авоська с продуктами, рядом сидит и, как всегда, с мрачным видом курит раньше всех собравшийся дед Миша в выходном пиджаке и новой шляпе. Из летней кухни доносятся голоса, звяканье посуды – бабушки и бабы-Катина дочь Галка налаживают сумки с едой. По ограде прохаживается мой дед Коля, тоже уже готовый. А привязанный у сарая Дружок, видя, что люди куда-то собираются, умоляюще повизгивает, просится вместе со всеми.

Я бегу в огород посмотреть, не подкрадываются ли откуда тучи, потому что вчера по южным районам Красноярского края передавали местами дожди, бабушки беспокоились. Из широкого бабы-Катиного огорода, когда встанешь посередине его картофельного моря, видно далеко, до горизонта. Оттуда, из-за края земли, где на вершине могучего увала возле самого неба темнеет полоска далёкого колка, выползают, встают над деревней грозы. Но сейчас, к моей радости, тёмная полоска упирается в чистую голубизну.

Порыв ветерка вновь приносит песню. Я смотрю за речку: за лугом у подножия кудрявых, одетых берёзовым лесом гор виднеется кучка тёмных пятнышек. «Они, что ли, поют?» – недоумеваю я.

– Это уж люди гуляют, – объясняет баба Катя, к которой я, вернувшись во двор, пристаю с вопросами. – Счас и мы пойдём.

Наконец собрались, а солнце уже высоко, припекает. Запираем избу (суём в дверной пробой берёзовый прутик, чтоб было видно, что дома никого), берём сумки и задами, через огород, трогаемся в путь.

Бабушки и дедушки идут медленно, тяжело переваливаясь на больных, натруженных ногах, растягиваются по длинной огородной тропинке, и я, бегущий впереди, уже у калитки на речку оглядываюсь, и вижу, кажется, на краю земли маленькую фигурку деда Миши, который ещё в начале огорода, закрывает оградные воротца. Но самым первым бежит спущенный с цепи, ошалевший от свободы Дружок. Он, как стрела, промчался по тропинке, не дожидаясь, пока откроют калитку, нашёл одному ему известный лаз в бурьяне под жердями изгороди и уже носится по речке, заполошно лая, гоняясь за тяжело взлетающими потревоженными воронами. И мне, как Дружку, хочется бежать в этот простор, к зелёным горам, у подножия которых виднеются уже не одна, а несколько россыпей тёмных пятнышек, от которых наплывает с тёплым ветерком песня.

По шатким мосткам с хлюпающими плахами переходим притихшую за огородом речку, и я, приотстав от взрослых, долго смотрю, как у торчащих из воды в озлистой зелени опорных кольев сонно покачиваются стайки водомёрок. Потом, словно взлетая к небу, по крутому, утоптанному подъёму избегаю из-под обрывчика на луговой берег, сразу оказываюсь в другом мире. Со всех сторон распахиается, зыбится в жарком воздухе, горячо и пряно дышит звенящая кузнечиками луговая ширь. Стеной стоят впереди зелёные горы, вольными волнами уходят вдаль, на горизонте становятся воздушно-голубыми, словно написанными акварелью. Вся земля сразу как на ладони – и берёзовые горы, и дальние увалы в одеялах полей, и полоса вытянувшихся вдоль речки деревенских крыш. На земле – праздник, она цветёт, каждая травинка радуется солнцу.

Мы идём по этой цветущей земле, по разомлевшей от тепла духмяной траве, маленькие зелёно-бурые кузнечики фонтанами, как вода на мелководье, брызжут из-под ног. В густом, крепко настоящем луговом воздухе пляшут, празднуют свой праздник мошки, бабочки, басовито гудят пауты. Дружок, у которого уже прошёл первоначальный восторг, захваченный океаном диковинных запахов, деловито рыщет в траве, что-то вынюхивает, копает...

Бабушки-дедушки идут тяжело, по-крестьянски, прожитые годы шагают вместе с ними. На головы бабушек, повязанные белыми платками, садятся маленькие луговые бабочки, едут бесплатно. Бабушки не замечают. А я, как Дружок, тоже нарезаю круги вокруг степенно шагающих взрослых – то забегу вперёд, то отстану. Встану посреди необъятной земли, оглянусь назад: деревня уж во-он как далеко! Гляну вперёд: надвинулись берёзовые горы, ползёт к ним по огромной равнине кучка людей – наша компания. А дальше в луговой дали, в жарком мареве ползёт ещё одна кучка... И невдомёк мне, что и пятьдесят, и сто лет назад вот так же степенно шагали по этому лугу в Троицын день дедушки и бабушки моих дедушек и бабушек, и так же плыла над землёй песня, и вторила ей кукушка.

А песня всё громче, всё ближе разбросанные по опушке россыпи тёмных

точек. Они уже превращаются в человеческие фигурки – сидят компании. Бабушки всматриваются.

– Знать-то Ермаковы... нет ли... – говорит баба Дора, глядя на россыпь справа.

– Дак не одне, – подносит к глазам ладонь баба Катя. – Зять ли, чё ли, с города приехал...

– А там, знать-то, Мосины... – баба Дора смотрит на россыпь слева.

– Но, Мосины, – подтверждает дед Миша. – Каждой год там сидят...

Но мы идём не налево, не направо, а прямо, и скоро компании скрываются за мысками надвинувшегося леса.

\* \* \*

Вот он, лес, в Спасском его называют *берёзник*. Высокий, весёлый. Торжественные берёзы на опушке, как колонны у входа в храм. У их подножия – моря незабудок, васильков, оранжевыми огоньками доцветают жарки. Кажется, всё подножие берёзовых гор – в разноцветной опояске.

Мы заходим в это разноцветье, в кружевную тень первых берёз. Дед Миша и дед Коля, опустив сумки прямо в васильки, садятся рядом, а бабушки с Галкой начинают стелить скатёрки. Вчера, в Троицкую субботу, они допоздна пекли, и теперь достают из сумок пышные, присыпанные мукой калачи, жёлтые шаньги, пирожки с луком и яйцами...

Гулко, на весь лес раздаётся весёлый лай. Я бегу в лесной полумрак, играющий пятнами света и теней: Дружок загнал на высокую берёзу бурундука, откуда-то сверху доносится его звонкое, сердитое цвирканье. Скоро Дружку надоедает лаять впустую, он исчезает в кустах. Березник стоит вокруг, большой, торжественный, убегают вверх по склону белые стволы берёз, горят между ними огоньки жарков, алое пламя марьяна корня. Где-то кукует кукушка. Цветёт, радуется лес своему празднику!

– Димуха-а-а!.. – кричат меня, и я бегу назад на опушку.

Взрослые уже усаживаются вокруг бугрящейся на примятой траве скатёрки с закусками, на которую, опережая людей, уже мостятся маленькие серые бабочки-мотыльки, разноцветные мушки и прочий охочий до дармовщинки лесной народ. Тяжело, с ойканьем, присев боком, подобрав под себя уставшие ноги, баба Катя обнимает меня за плечи, притягивает к себе:

– Мой-то хороший, иди ко мне... Уж знать-то упарился...

Взрослые поднимают стопки, в которые падает, сверкает пробивающееся сквозь верхушку развесистой берёзы высокое, жаркое солнце – солнце Троицы.

– Но давайте, с Троицей!..

Я плохо осознаю, кто такая эта Троица, которую все так чтут, и зачем надо идти в лес, садиться на опушке и есть пирожки. Вроде что-то религиозное. Но ведь религия – это скучные попы, заунывное церковное пение, а тут – солнце, цветы, песни, и совсем не церковные!

Через много лет, прочитав про дохристианские корни Троицы, я пойму, почему Троица – это солнце, цветы и песни, но пока ничего этого не знаю. Просто жую пирожок с луком и яйцами, радуюсь этому солнцу. Оно запута-

лось в верхушке высокой берёзы, под которой мы сидим, будто остановилось, огромный день в зените. Отсюда, с опушки, где сходятся вместе лес, луговой простор и небо, кажется, видно всё, что есть в этом дне. Во-он у самого горизонта поднимается на увал нитка шоссе, по ней ползёт крошечный автобус... В луговой дали в жарком мареве дрожит белое пятнышко – пасётся лошадь... А в растянувшейся по другую сторону луга цепочке деревенских крыш, если присмотреться, можно различить крышу бабы-Катиного дома. Прямо против нас, будто огородная тропинка, по которой мы уходили, продолжалась дальше и, никуда не сворачивая, довела нас до самого леса. Будто этот луг, эта опушка с запутавшимся в берёзах солнцем – продолжение нашего дома. И всё – и земля, и небо – один огромный чудесный дом, в который пришёл праздник... Вдруг становится хорошо непонятно от чего.

А песня то смолкнет, то снова возникнет где-то сбоку, за выступающим лесным мысом. Урывками долетают разбросанные в волнах тёплого воздуха слова:

*По ди-и-иким... Забайкалья-а-а-а,  
...зо-о-олото моют в гора-а-а-ах...*

«О-а-а!» – повторяет эхо.

Вдруг из-за дальних деревьев, откуда доносится песня, появляются две маленькие фигурки.

– К нам ли чё ли? – вглядывается в идущих баба Катя. – Знать-то Проня Ермак с Агашей...

Фигурки приближаются, превращаются в тяжело, развалисто шагающего, уже издали широко улыбающегося пожилого дядьку и маленькую кругленькую тётеньку в цветастой кофточке, с узелком в руках. Она тоже улыбается, но немного смущённо и в то же время с вызовом, словно говоря: «Не ждали? А мы вот явились...». Я их узнаю, это те самые Ермаковы, о которых говорили, когда шли к лесу, и которые живут от бабы Кати через четыре дома. Бабушки рассказывали, что позапрошлый год гуляли Троицу вместе с ними.

– Вон де оне сяли, а мы думаем – шли, шли, куды-то делись, – Проня, избражая шутливое недоумение, широко разводит руками.

– Сяли на своё место, проти своёва дома, – в тон ему отвечает баба Дора.

– Дак, а мы – проти своёва, – ещё шире улыбается Проня. – Но, с Троицей!

Он сходу без церемоний подсаживается к нашей компании, но не к скатёрке, а как бы чуть в сторонке, словно на минутку отдохнуть. Агаша для приличия мнётся, но гостей, конечно, просят «к нашему шалашу», наливают, и она уже без лишних слов выкладывает принесённые в узелке пирожки...

Мне надоело сидеть со взрослыми, я занимаюсь своими делами: исследую обнаруженную неподалёку муравьиную кучу, охочусь за бабочками, бегаю наперегонки с Дружком. До меня долетают обрывки разговоров:

– Иван-то Матвейч тогда уж помер, а это брат ево. Возле колхозной конторы жил, ты знашь, у него ишо пасека была в Змеином логу. Вот он нам печку клал...

– А я как глянула – тошно мне: всё занесло, аж чёрно. А поле, куда спрячес-

ся? Пока до дому ишли – отхлестало до нитки. Зато ягоды набрали... А потом – и дожди, и дожди, и до самой осени... всё сено тот год погнило...

– Ездили же тогда вон де, через Зерносовхоз, тут дороги не было. Счас до Ужура – два часа по трасе, а тогда – грунтовка, два дня уходило. Весной, осенью – грязюка, по всёй дороге машины сидят...

От этих разговоров веет минувшим – войной, колхозами, той загадочной для меня жизнью, которой когда-то жили мои дедушки и бабушки, где осталась их молодость. Сидят старики, вспоминают давно пропетые песни, давно пролетевшие дожди и ветры, и кажется им, будто снова они бьют в лицо. Им, молодым...

И возникает песня. «Живёт моя отрада в высоко-оком терему-у...» – запевают бабушки, подхватывают Проня с Агашей, деды, и наша песня, ударившись о берёзы опушки, смешивается с другими песнями, тоже летит в луговое раздолье... Пение для бабушек – дело ответственное, где у каждого своё место и нельзя халтурить, поэтому они поют серьёзно, на совесть, как привыкли работать. Одна запекает, другие поддерживают, строжатся друг над другом: «Вытягивай, вытягивай!...». Когда смолкает наша песня, в наступившей тишине в отдалении слышится чья-то другая. По всему лесу идёт песенная переключка.

\* \* \*

Плывут над землёй песни, горит-сияет Троицын день. И никто на этой праздничной земле – ни люди, ни заливающиеся на все голоса кузнечики, ни беззаботные бабочки – не замечает тихо подкравшуюся, уже выглядывающую из-за горизонта, из-за упирающегося в небо далёкого увала тёмную хмарину. Свинцом наливается над увалом небесная синь. Вот они «возможные дожди» по южным районам! Не зря переживали бабушки.

По лугу и лесу прокатывается глухой рокот. Настораживается земля.

– Но-ка! – баба Маша поднимается из круга сидящих, выходит за кусты, закрывающие обзор, глядит на грозовой увал. – От язвы тебя, уж всё занесло. Надо скорее собираться, а то отхлешшет!

Смолкают песни, в самом деле надо поторапливаться. Бабушки, Галка, Агаша боятся грозы.

– Во загостились, поди уж хватились нас, – говорит, поднимаясь с травы, торопливо обтряхивая подол юбки, Агаша. – Хозяева не гонят – мы и сидим... Подём к себе да тоже надо бежать. Спасибо за хлеб-соль...

Ещё пять минут назад яркий и ликующий, огромный день меркнет. По лицу земли, накрывая луг, деревню, дальние увалы, ползёт тень, примолкают кузнечики, скрываются бабочки. Просыпается ветер, начинает тревожный разговор с березником, по всему лугу приходят в волнение, беспокойно качаются сиренево-розовые зонтики тысячелистника. Земля прячет свой праздник.

Торопливо собравшись, беспрестанно оглядываясь на наползающую тьму, мы трогаемся в обратный путь. Справа и слева от нас по взлохмаченному лугу ползут, возвращаются в деревню такие же кучки людей, но откуда-то, как вызов надвигающейся грозы, всё ещё долетает разорванная ветром песня. Это самые отчаянные, кому непогода уже не страшна.

А мне весело: от того, что дохнул дождевой свежестью ветер, что всё в мире

завдвигалось – закачались деревья, заволновались травы, заходили тучи, что от рокота грома по тёплой земле пробегает дрожь. Мне кажется, земле тоже весело – встряхнуться, сбросить томительный зной, погонять ветры и тучи... И хмурится она только для виду.

Но бабушки боятся. Каждый раз, когда над грозовым увалом безмолвно сверкает маленькая хищная молния, а потом гремит гром, они испуганно, на ходу, крестятся, шепчут молитву.

И всё же посреди луга, посреди огромной земли, где вокруг лишь мотающаяся под ветром трава да грозное небо с клубящимися тучами, до которого, кажется, можно дотронуться рукой, – и мне становится не по себе. Я бегу первый, за мной поспешают на больных ногах бабушки с дедушками, а впереди всех, невозмутимо закатав хвост кольцом, трусит Дружок. Ему гроза нипочём.

Всё выше вырастают спасительные крыши деревни. Вот и речка. Взъерошенная рябью, она похожа на ленту серой гофрированной бумаги, на берегу – стая тревожно гогочущих, с задранными ветром перьями, гусей. Белые гуси под свинцовой тучей в посеревшем мире – как огоньки... А туча уже совсем рядом, цепляется за торчащие на бугре огородные изгороди.

Первая капля звонко шлёпает меня по макушке.

– Беги быстрее, отвязывай калитку, а то вон уж дож, – кричит мне баба Маша.

Я перебегаю мостки, с трудом балансируя и чувствуя, как порывом ветра меня чуть не сбрасывает в воду, мчусь к нашей утопающей в бурьяне огородной калитке. Торопясь, обжигая руки мотающейся под ветром жалицей, кое-как развязываю обрывок толстой верёвки, которым дед Миша вдобавок к крючку завязал калитку, чтоб не открыла гуляющая по речке ушлая скотина...

Наконец мы в огороде, вроде уже дома, но надо ещё одолеть длинющую тропинку в море побелевшей, вывернутой ветром картофельной ботвы. А мутно-серая стена дождя уже тут как тут, задёрнула полмира, уже не видно ни луга, ни березника. Она настигает нас на середине огорода. В несколько секунд мы мокрые, и в ограде, не добежав до избы, заскакиваем под навес. В ту же минуту ливень наваливается всей тяжестью, шиферная крыша гудит. Но мы в укрытии. Слава Богу!

– Но, промок? – обтирая мне мокрое лицо загрубелой ладонью, улыбается баба Катя. – Спрашивал, что такое Троица – вот тебе и Троица. Вишь нонче как...

Но мне всё равно весело. Тем более, что гроза короткая: через полчаса, глухо ворча, уползает дальше, за голубые горы. Снова сотворяются чудный день, раздольный луг, зелёный лес. Выходит солнце.

И по сей день закрою глаза и вижу это запутавшееся в ветвях высокой берёзы солнце Троицы.

## ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ

Когда выходили из Белояра, ярко светило солнце, слепил глаза свежий, выпавший с ночи снег. Шумной гурьбой, оживлённо переговариваясь и пересмеиваясь, они перешли деревянный мост через скованный льдом и заметённый

снегом Чулым, весело зашагали по накатанной полевой дороге. Парни и девчата из окрестных деревень, они учились в райцентре в десятилетке, и сегодня, в субботу, отсидев последние на неделе уроки, расходились на выходные по домам.

Два человека шли недалеко, в Михайловку, но больше всего набралось покровских. До Покровки двадцать четыре километра – часов пять ходу, но, если тебе пятнадцать, звонко хрустит под валенками снег, легко вдыхает свежий морозный воздух грудь, а с собой только лёгкая котомка за спиной – кажется, что тоже недалеко.

Пока дорога шла пойменной низиной, ветерок лишь пощипывал щёки. Но когда они поднялись на увал матёрого берега, и до горизонта распахнулись белые, ослепительные поля, навстречу, обжигая лицо, дохнул летящий над огромной равниной большой ветер. Он был, как наждачная бумага, забирался в рукава обтрёпанных пальтишек, давил из глаз слезу.

– Во ядрёна корень, май месяц! – кривясь красным, деревенеющим лицом, захохотал Вовка Макухин, его грабастые руки в дырявых рукавицах далеко торчали из рукавов короткой, не по росту, телогрейки. – Продаю дрожжи, кому кило?..

– Ой, я щёку отморозила! – приостановившись, схватилась за лицо Галька Сухова.

– Потри снегом, не отставай, – посоветовали ей, не сбавляя шаг.

Галька схватила горсть снега и, оттирая щёку, побежала догонять остальных.

Шуток и разговоров стало меньше, скоро и вовсе примолкли, слышался только частый скрип шагов.

Санька краем воротника прикрывал лицо от жгучего ветра. Время от времени поворачивался к нему спиной, неуклюже шёл то боком, то задом, и тогда видел Белояр, от которого ещё не отошли далеко, его рассыпанные по крутому берегу домишки, розово-фиолетовые дымы в морозном небе... Там были жизнь и тепло. «Ничего, – думал Санька. – Дойдём до дома – отогреемся. Сегодня суббота, мамка топит баню...»

– А манал я сопли морозить по такому ветру, – тоже пятившийся задом и глядевший на дымы Вовка Макухин, вечный баламут, вдруг остановился. – Я назад!

Все как будто ждали этих слов, тоже остановились, шумно дыша, в нерешительности поглядывая на Вовку и друг на друга.

– Хана, пацаны, всё отваливается, – Андрюшка Ермаков тёр рукавицей нос. – Сопатку не чувствую...

Оказалось, у многих уже прихватило либо нос, либо ухо, либо щёку. Постояли, побазарили, притопывая ногами и прихлопывая рукавицами. Решили возвращаться. Не горит, в другой раз сходят, как потеплеет.

Упёрся один Санька, не любил возвращаться с полдороги. И ещё не очень замёрз: полушубок, хоть и старенький, не продувало, а у облезлой шапки он опустил и завязал под подбородком уши.

– Чё, ветерок подул, сразу слабо? – Санька сморкнулся на снег, сплюнул. – Девки замёрзли – пусть ворочаются, а мы-то чё? Айда, до ночи дойдём!

Несколько парней заколебались было, но тут снова дурным голосом заорал Вовка:

– Самый умный, чё ли? Мотри, искать тебя никто не будет... Идите, кому околеть охота, а я в Белояр!

Он поддёрнул котомку за спиной и размашисто зашагал назад. Остальные, постояв в нерешительности, один за другим потянулись за ним.

– Санька, заворачивай оглобли, чё мёрзнуть-то!..

– Ну и катитесь! – Санька тоже немного постоял, ещё раз сплюнул. Круто развернулся и пошёл навстречу злому ветру. Он не видел, как Галька, прикрывая варежкой пунцовое от холода лицо, по-бабьи, со страхом и жалостью смотрела ему вслед, только слышал её крик:

– Санька, не дури, пошли назад! Куда один-то?!

Не оборачиваясь, он махнул рукой...

\* \* \*

На высоком берегу, на красивых, отражающихся в зеркале Чулыма крутолобых увалах стоял райцентр Белояр, и, когда народ ехал к нему из района, издалека видел лежащие на горизонте, как синяя опояска, чулымские горы. С малых лет любил Санька ездить туда с отцом, бухгалтером покровского колхоза. Отец запрягал в телегу с плетёным коробом конторскую лошадь, брал с собой Саньку и ехал в белоярский райфинотдел решать свои бухгалтерские вопросы. Пока ходит – Санька и лошадь посторожит, и что другое поможет.

Бывало, высоко поднялось уже июльское солнце, мерно топает лошадь с выючимися над крупом слепнями, едут они с отцом полевой дорожкой с развесистыми травами на обочинах, неторопливо беседуют о ракетах, мотоциклах, электричестве... Оба – поклонники науки и техники. Отец Саньки по подсказкам из журналов вместе с мужиками и, конечно, с Санькиной помощью собрал настоящие аэросани: ездили на них по деревне, пока не сторел движок. Тогда отец выписал откуда-то линзы, инструкцию, сделал маленькую подзорную трубу, и они смотрели в неё на луну и звёзды. А в ограде у них на всех крышах крутятся вертушки-пропеллеры, заряжают аккумулятор, от которого питается маленькая электрическая лампочка в доме, замещает керосинку. В ветреную погоду вся усадьба гудит, как аэродром...

Едут Санька с отцом, подсчитывают, сколько надо ветряков, чтобы осветить всю избу... Поговорят, замолчат, и тогда Санька слушает, как скрипит телега, трещат в траве кузнечики. Задумается о чём-то отец, наверное, механизм какой-нибудь конструирует, ослабнут в руках вожжи. Брови поддёргиваются, пальцы шевелятся. Лошадь топает всё тише. Встала, тоже о чём-то думает, хвостом помахивает... Очнётся отец, дёрнет вожжи: «Но-о-о!». Снова заскрипела телега.

Когда лошадь останавливалась, Санька толкал отца в бок: «Папка, встали!». А иногда не толкал, ему нравилось, когда останавливались вот так среди зыблущихся в жарком мареве полей, и в наступившей тишине было слышно, как гудит пролетающий паут... Хорошо, спокойно было в полях. Кончилась война, отстояла страна эту полевую тишину, никто её теперь не отнимет! Живи – не хочу!



Жить Саньке страшно интересно! По радио рассказывают, что человек скоро полетит в космос, на уроках химии меняет цвет лакмусовая бумага, в районе появились первые мотоциклы! Будоражат Саньку, ломают вековой покой полевых просёлков. Когда-нибудь и они с отцом купят мотоцикл, будут на нём ездить в Белояр...

Едут Санька с отцом дальше, и вот уже с середины дороги показываются на горизонте чулымские горы. Белояра ещё не видно, но у Саньки начинает сильнее стучать сердце. Белояр – центр цивилизации, почти город, туда едут со всего района – покупать, продавать, дёргать зубы, оформлять документы... На въезде – старинный деревянный мост с арками из почерневших брёвен, с ослизлыми понизу каменными быками, с которых ныряют в Чулым отчаянные белоярские пацаны. Телега едет по мосту, Санька с волнением смотрит, как надвигается таинственный белоярский берег с шевелящимися на отмели космами водорослей, и ему кажется, что он въезжает в сказочное царство.

Совсем другая жизнь начинается за мостом. На идущей от него главной улице – много людей, телег, проезжают «полуторки», дома за палисадниками – под железными крышами. Много магазинов – промтовары-хозтовары, рядом пофыркивают привязанные лошади, у ларька с пирожками вперевалку ходят попрошайки-голуби... Шум, суета. Санька возбуждённо крутит головой, у него пестрит в глазах...

Много чудес в Белояре – и высокий элеватор, и молокозавод, и каменный Дом культуры с киноафишами на фасаде. А главное – школа-десятилетка. В Покровке только семилетка, а Санькина мечта – закончить десять классов, поехать в город, поступить в институт и стать инженером. Ещё больше мечтал об этом фронтовик-отец, всю жизнь жалевавший, что у него нет высшего образования.

– Я в институте не учился, только техникум закончил, – говорил он Саньке. – Война помешала. А ты выучишься, у тебя вся жизнь впереди. Ох и интересно учиться, сын!

Да, интересно было Саньке с отцом... Мать, малограмотная казачка, хоть, бывало, и поругивалась на их «железки», нарушавшие чистоту-порядок избы, но, любя мужа и сына, тоже свято верила, что Санька выучится, выйдет в люди. И время пришло: в числе лучших Санька закончил покровскую школу и в восьмой класс пошёл в белоярскую, на квартиру в райцентре его взяли знакомые родителей. Началась новая, самостоятельная жизнь.

Поначалу было трудно, тосковал по дому. Но, если что-то не получалось, Санька становился злым, не успокаивался, пока не добивался своего: он дал себе слово выдержать. И выдержал. Прошли три, четыре недели – начал привыкать. Каждый день на старенькой тумбочке, которую ему выделили в горнице, старательно готовил уроки, потом во дворе помогал дяде Ване, хозяину, колоть дрова... Первую четверть закончил с двумя четвёрками, вторую – уже на все пятёрки.

Белояр, новая школа вломились в Санькину жизнь, потеснили родную Покровку, но не сильно. Один-два раза в месяц на выходные он ездил домой с попуткой или с приезжавшим на лошади отцом. А, случалось, ходил с ребятами пешком. Как сегодня.

После размолвки с одноклассниками с какой-то отчаянной яростью шёл Санька навстречу ветру, не чувствуя его и не оборачиваясь – вдруг Галька ещё смотрит?.. Метров через триста не выдержал, украдкой полуобернулся, скосил глаза: цепочка тёмных фигурок уже терялась в сверкающих снегах, медленно ползла к белоярским дымам, всё так же безмятежно стоявшим на горизонте. Эти распустившиеся в небе, как цветы, перламутровые дымы, освещённые предвечерним солнцем далёкие увалы казались такими ласковыми, что у Саньки заняло внутри. Послышался испуганный Галькин голос: «Санька, не дури...».

Словно чего устыдившись, Санька выругался, отвернулся. Решил? Всё, нечего думать! И, больше уже не оглядываясь, пошёл вперёд. Злой ветер дул в лицо, но Санька натянул по самые глаза шарф и с таким же, как у ветра, упрямством ломился ему навстречу. Постепенно стал успокаиваться, согреваться от быстрой ходьбы, его начал охватывать тоже злой азарт. «Это мы ещё посмотрим, кто кого!» – думал Санька про ветер.

Стало даже весело. Друзья-товарищи уже исчезли в морозно-дымчатом пространстве, и залитые золотым вечеряющим солнцем снега лежали вокруг, безмолвные и торжественные. Санька был единственной живой точкой, которая двигалась в этом золотисто-белом мире: он вспомнил недавно прочитанный рассказ Джека Лондона про Белое безмолвие, представил себя золотоискателем на Юконе. «Я – как те старатели, – с гордостью подумал Санька. – Они ехал на собаках, но по целине, а в рассказе сказано, что нет труда изнурительнее, чем прокладывать путь».

По накатанной в свежевыпавшем снегу колее идти было наоборот легко, однако через несколько километров колея вдруг вильнула на сворот к Михайловке. Остался лишь чей-то одинокий санный след, но и он скоро свернул в сторону, скрылся за ближайшим колком. Пошла дорога заметённая – просто канава в снежном поле, её белое покрывало было девственно чистым. Лишь кое-где, как затейливые узоры, на нём голубели путанные цепочки мышиных следов.

Теперь Санька шёл медленнее, то и дело приходилось перебрывать надутые с поля снежные языки. Снега было не много, но идти стало труднее.

Ветер чуть ослаб, Санька к нему притерпелся. За свои пятнадцать лет терпел он немало, рано понял, что в жизни всегда дует встречный ветер. Жили трудно, на ржаном хлебе и картошке: вместе с отцом Санька вскапывал двадцать пять соток огорода под картошку руками – терпел. Накопившись до кровавых мозолей, со слипающимися глазами делал при керосиновой лампе уроки – терпел. Сидели зимой в недотопленных школьных классах в телогрейках – терпел... Терпел и собирался в комок. Когда в Санькиной жизни возникала трудность, в нём просыпался какой-то бес, не давал покоя, пока он эту трудность не побеждал. Это он в мамку, она – казачка, характер крепкий...

Ничего! Одолеет он и ветер, и дорогу! И в банке дома попарится, не дожидаясь следующей субботы, как некоторые.

Солнце уходило в лежавшую по горизонту морозную дымку, медленно меркли ещё недавно ослепительные поля. Давно пропали за снежными косогорами белоярские дымы, оглядываясь, Санька видел лишь заметённую дорогу с цепочкой своих собственных уходящих назад следов.

На него нашло торжественное настроение. На прощание закатное солнце наполнило мир удивительным светом, Санька даже остановился. Как в сказке, уходили к горизонту розовые снега, розовел придорожный колок, рядом на снегу сидели, смотрели на Саньку чёрные с розовым отливом вороны. Ветер совсем ослаб, и в снежно-розовом мире стояла такая торжественная тишина, что по спине у Саньки прошёл холодок. Ещё недавно обжигающе-ледяной, этот мир превратился в храм. «А вернулся бы с ними – такого не увидал бы», – подумал Санька.

Однако надо было поспешать. Этот знакомый Саньке розовый колок означал половину дороги, и в прошлый раз его проходили ещё при высоком солнце, а не на закате. «Припозднился, – с лёгким беспокойством подумал Санька. – Замело, быстро не пойдёшь. Тот раз стемнело уже как подходили к дому, а сегодня неизвестно когда явлюсь».

Но дальше снега стало ещё больше, идти стало ещё тяжелее. Местами Саньке приходилось брести в сугробах по колено. Он уже порядком устал, а впереди густела синева, оттуда шла ночь. Огромная, морозная. На миг у Саньки сжалось сердце, но он отогнал тревожные мысли: «Что, ночью не ходил, что ли? Ничего...».

На его счастье, ночь пришла лунная, только луна выкатилась невысоко, в дымке. Мороз окреп. Дорога виднелась высокими бровками обочин, между которыми темнела полузанесённая впадина. Местами её перемело так, что она исчезала совсем, ровнялась с окружающими полями. «Не потерять бы, – подумал Санька. – Тогда хана».

Эх, был бы торный большак – подходил бы уже к Покровке! Вдруг вспомнилось лето, они с отцом едут по этой дороге, разговаривают о законах физики, а поля плывут в знойном мареве... Нет, лучше не вспоминать!

В одном месте дорога исчезла окончательно, Санька долго брёл наугад. Уже совсем отчаялся, но наконец заметил вдруг обозначившуюся в стороне канавку. Кинулся к ней и, когда почувствовал под рыхлым снегом дорожную твёрдость, обрадовался, как спасшийся после кораблекрушения мореплаватель.

Долго брёл Санька по снежным заносам, сильно устал, и уже жалел, что не вернулся вместе со всеми в Белояр. Выпендрился, не думал, что дорогу так занесёт. Вот и шарься теперь ночью!

Он брёл уже через силу, чувствуя, как наливаются свинцом руки и ноги. Начал мёрзнуть, вместе с усталостью за пазуху стал пробираться холод. Мысли ворочались тяжело, как камни: «Откуда столько намело?.. В Белояре снегопад был небольшой, а тут навалило... Нет труда изнурительнее... Только не останавливаться... Назад возвращаться поздно, надо идти! Иди!..».

И он шёл, уже как автомат, плохо разбирая куда, а в голове всё стучало: «Идти!.. Идти!..».

Сколько брёл в такой прострации, Санька не помнил, только вдруг, очнувшись, почувствовал, что снова идёт по целине. Свернул вправо, прошёл несколько десятков метров – целина. Влево – то же самое. Похоже, потерял дорогу окончательно. Ему стало по-настоящему страшно, он остановился. Вокруг была ночь без конца и края, смутно отсвечивали в темноте снега, как призраки, темнели пятна отдалённых колков, и он стоял посреди этой огромной ночи один, замёрзший и обессилевший, и не знал, куда идти и что делать. Где он? Где дорога? Где-то далеко-далеко, казалось, за тридевять земель в этой злой ночи были родной дом, свет, тепло, и отец с матерью, поджидая его, Саньку, наверное, прислушивались сейчас, не скрипят ли за окном шаги... А он здесь. К горлу подкатила судорога...

Надо было попытаться вернуться по своим следам и найти дорогу, но одеревеневшие ноги не хотели двигаться. Неподалёку смутно белело какое-то возвышение. Санька сделал несколько шагов и увидел высокий, зализанный ветром гребень сугроба-заструги. Ни о чём уже больше не думая, он добрёл до заструги и сел, почти упал под неё, привалившись боком к её мягкой подветренной подошве. Изредка оживавший колючий ветерок здесь не доставал. Он закрыл глаза, сразу побежали куда-то, сливаясь в искрящуюся ленту, белые поля, ослепительные снега, розовые белоярские дымы... Эта ночь, его отчаянное положение – всё вдруг отодвинулось, поплыло непонятно куда.

Валило в сон. «Нельзя, посидеть и идти дальше, усну – тогда конец!» – подумал он и испугался, но уже вяло, продолжая проваливаться в искрящиеся снега. Мелькнули лица отца, матери. «Как же так, у меня же вся жизнь впереди...» – совсем уже вяло подумал Санька. Чей-то знакомый голос прокричал: «Санька, не дури!». И повторил: «Санька, не дури!». И начал повторять всё чаще, чаще, мешая Саньке. Голос превратился в тонкий серебряный звон, назойливо стоял у Саньки в ушах, не давал проваливаться в ту искристую бездну, в которую так приятно было лететь.

Санька очнулся: всё те же заструга, поле, ночь. Но из этой ночи шёл звук, до боли знакомый. Это же колокольчик! Поддужный колокольчик «дар Валдая» звенел где-то неподалёку, за смутно белеющим взгорком. Если бы лучшие оркестры мира вдруг заиграла чудесный вальс, он не был бы для Саньки приятнее – поблизости бежали рысью одна или несколько лошадей. Звон нарастал. В отяжелевшей голове молнией вспыхнула догадка: зимней ночью в этой глуши мог звенеть только один колокольчик – почтовый. Почту в Белояр возили ямщицким транспортом через Покровку, и ямщик с белоярского участка был их, покровский, Прокоп Леликов. Перед Санькой сразу возникло суровое обветренное лицо Прокопа с холодно-голубыми ястребиными глазами, вспомнились его немногословность, степенность, деревянная нога, с которой он вернулся с фронта...

Невидимая пружина подбросила Саньку, поставила на ноги, разом слетела обморочная одурь. Он хотел бежать, но мог лишь, пошатываясь, идти в ту сторону, откуда слышался колокольчик.

– Эй!.. – закричал Санька. – Эй, дядя Прокоп!..

Поднялся на взгорок – никого, колокольчик слышался уже где-то вправо, за другим взгорком, медленно удалялся. Задыхаясь, спотыкаясь в высоком снегу, в отчаянии спрашивая себя, не галлюцинация ли это, Санька торопливо ковылял туда, где ещё слышался колокольчик. Вдруг увидел след. На гладком снегу отчётливо темнели две прямые линии от санных полозьев и цепочка следов запряжённых цугом лошадей. Нет, не галлюцинация! Санька ступил в канавку от полозьев, почувствовал под ногой твёрдое. Дорога! Дядя Прокоп каждый кустик знает, перемети хоть всё на свете – дорогу не потеряет!

И загорелась алмазами ночная тьма, чудными огнями вспыхнули вокруг Саньки снега, затанцевало над головой тысячезвёздное небо. В ночи, как нить Ариадны, пролёт санный след! Ничего, что Прокоп уехал, он, Санька, теперь дойдёт по следу!

Откуда силы взялись – по санному следу Санька двинул, как по проспекту. Вспомнил, нашарил в кармане смёрзшийся, как камень, ломоть хлеба. Шёл, жевал, и только теперь вдруг осознал, что могло бы быть, если бы не колокольчик... Его всего передёрнуло.

\* \* \*

Долго шёл Санька по санному следу, и снова уже начал терять счёт времени, но вот на краю этой бесконечной ночи, словно кто поднёс к горизонту волшебный фонарь, засветилось слабое зарево. Когда он поднялся на очередной взгорок и вдали замерцали огоньки, к сердцу подкатила горячая волна: дошёл! Теперь жив! Ничего, что это ещё не Покровка, а Успенское – до Покровки от неё всего пять километров!

Село лежало чуть в стороне, на отшибе возле дороги стояла колхозная столовая. Санька добрёл до неё и удивился. Ему казалось, уже давно глухая ночь, скоро утро, а в столовой горели окна. Тяжело поднялся на крыльцо, толкнул дверь, в лицо ударил яркий свет. В столовой было пусто, толстая тётка в белом халате с засученными рукавами убирала со столиков, обернулась к нему:

– Закрываемся... слышал?

Но, увидев измученное, обмороженное Санькино лицо, оставила тряпку, упёрла в стол потные красные руки:

– Ты чё?.. С дороги, что ли?

– В Покровку иду... замёрз... – с трудом разлепил Санька одеревеневшие губы. – Дайте поесть...

Деньги с собой у него были. Сердобольная тётка принесла сто грамм водки и большую тарелку наваристых, по-деревенски жирных щей с мясом.

Водка огнём прокатилась в горло. Обжигаясь, Санька хлебал горячие щи и чувствовал, как медленно вливается в измученное тело тепло и жизнь.

От хмелел – от водки, щей и тепла, бедная колхозная столовая с обшарпанными столиками и фикусом в кадке вдруг стала родной. Таких вкусных щей он не ел никогда в жизни, а толстая тётка оказалась доброй. Переваливаясь, как утка, она ходила между столиками, продолжала убирать посуду и расспрашивала Саньку, чей в Покровке он сын, сказала, что знает его мамку, охала и переживала, что он так обморозился. Посоветовала, как придёт домой, помазаться гусиным жиром... Санька таскал ложкой щи, благодушно

слушал, отвечал на расспросы и с благодарностью думал, какие, оказывается, хорошие люди живут в Успенском. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, спросил:

– А сколько уже времени?

– Девять, – тётка недоумённо поглядела на него, потом засмеялась, заколыхалась всем телом. – А ты думал сколь?..

\* \* \*

Когда, поблагодарив сердобольную тётку, согретый и передохнувший, Санька пошёл дальше, ночь была уже другой. Она пела и ликовала. Как бриллиант, сияла выпроставшаяся из морозной дымки луна, Млечный Путь мерцал так близко, что Санька чуть не цеплялся за него шапкой, сказочными коврами отблёскивали в лунном свете снега. Санька искренне недоумевал, как мог он чуть не замёрзнуть в таком безмятежно-радостном мире.

Дорога в этой чудной ночи бежала лёгкая. На ней уже не было видно Прокопова следа, в накатанных колеях он смешался с другими следами. Санька шагал бодро. Шагал и думал, какое в понедельник будет лицо у Вовки Макухина, когда они встретятся в школе. Сдрейфил! И что скажет Галька?..

Когда с последнего увала открылись огоньки Покровки, у него защемило сердце. Деревня уже спала, изредка взлаивали собаки. Санька остановился, вдыхал знакомо, сладко припахивающий дымком морозный воздух, смотрел на огоньки. И вдруг почувствовал, как по обмороженной щеке скользнула тёплая слеза...

Родной дом, заметённый снегом, стоял тёмный и тихий, не слышно было даже вертушек на крыше. Один Серый, как только Санька взялся за кольцо калитки, залился во дворе радостным лаем – он узнавал его по первому шороху... Как во сне, преодолевая вдруг разом навалившуюся усталость, Санька зашёл на крыльцо, стукнул в дверь. В глубине дома что-то глухо бухнуло, вспыхнула щель в оконном ставне. В сенях затопали торопливые шаги, в распахнувшейся двери забелело тревожно-испуганное материно лицо:

– Это в таку морозину шёл, да ишшо в ночь!

– Устал, мамка, – только и сказал Санька, вваливаясь в избу...

Он уже не очень хорошо помнил, как, увидев при свете его обмороженное лицо, причитала и помогала раздеваться мать, как хмурился, расспрашивая про дорогу, отец, как он, Санька, уже засыпая, сидел за столом, хлебал горячий суп. Он сбивчиво рассказал про свои мытарства, но о том, что чуть не замёрз, не сказал.

А мать всё причитала:

– И на чёрта оно, это ученё, весь обморозился! Не пущу больше!..

Когда Санька коснулся головой подушки, сразу полетел в снежную бездну...

\* \* \*

Но не судьба была Саньке в этот раз отдохнуть в родительском доме. Утром мать разбудила его ещё до рассвета.

– Вставай, сынок, Ероха Штык в Белояр мясо везёт, сейчас за тобой заедет, – мать всхлипнула. – Ехать надо. Думала, хоть до обеда побудешь, да боль-

ше-то попутных никого нет, и отцу лошадь не дают. Ой, горе, и что это за ученё – дома ни побыть, ни отдохнуть!

Санька, конечно, тоже расстроился – кругом не везёт, но виду не подал. Сам, уже как взрослый, успокаивал мать:

– Ничего, мама, я выспался. В другой раз побуду подольше...

Когда, уже собранный и одетый (Ерофей ждать не будет!), он сидел в избе у окна и караулил подводу, подошёл, сел рядом отец. Что-то непривычное было в его лице. Помолчал, положив Саньке на плечо свою тяжёлую руку:

– Надо учиться, сын. Терпи. А в такую дорогу один больше не ходи. В ту субботу приеду за тобой.

– Ладно...

И снова Санька среди тех же полей и снегов, только едет назад, в санях-розвальнях, на сене и укрытый тулупом, и перед ним спина дядьки Ерофея. Над землёй поднимается солнце, и, чем оно выше, тем меньше Санькина горечь, спокойнее на душе. Снова загораются, играют светом вокруг снежные поля... Ничего, получит он свой аттестат, он упрямый. А потом поедет в город, поступит в институт, и будут у него другие дороги – большие, настоящие. И он дойдёт, куда решил, у него вся жизнь впереди.

Когда на горизонте показались голубые белоярские горы, он стал глядеть на них. Ему казалось, что где-то там, за ними – его Большая жизнь.